

Игорь Олен

Познавание ведьм



Игорь Олен

Познавание ведьм

«Автор»

2026

Олен И.

Познавание ведьм / И. Олен — «Автор», 2026

Текст конструирует общность, существовавшую в прошлом веке. Тогда все являли собою тезисы, не было секса, многих других вещей; также господствовала идея «радужных горизонтов» и «ежедневного улучшения жизни». Все хрюкали, и устраивались кувыркания через голову. Жил тогда интурист, человеко-ворона, (что до сих пор живёт в Спасской башне), также московская нежить с именем Алгоритма (вроде схоронена на Ваганьковском кладбище, уч. 16-05).

© Олен И., 2026

© Автор, 2026

Игорь Олен

Познавание ведьм

Текст конструирует общность, наличествовавшую в прошлом веке. Тогда все являли собою тезисы, не было секса, многих других вещей; также господствовала идея «радужных горизонтов» и «ежедневного улучшения жизни». Все хрюкали, и устраивались кувыркиания через голову. Жил тогда интурист, человеко-ворона, (что до сих пор живёт в Спасской башне), также московская нежить с именем Алгоритма (вроде схоронена на Ваганьковском кладбище, уч. 16-05).

Игорь Олен

АЛГАРИТМА

Или Москва ушедшая

мульти-абсурд

I. Некогда

Едем!

Вика, участвовавшая в жизни школы и победившая в смотре-конкурсе «Ставрополье мой край родной», получила в Артек путёвку (это был, вроде, третий год «Перестройки»). Пятого сентября Вика утром села на поезд и покатила. «Ишь, едет-едет девочка-Вика — а остальные учатся-в-школе, учатся-в-школе...» — бодро выстукивали колёса. Вика смеялась и, прикинув на грудь комсомольский значок, подходила к окну, чтобы с улицы её видели проходящие школьники, зеленея от зависти! Весь вагон тоже ехал весёлый и говорил про таинственные Геленджик, Алупку, Ялту, Мисхор, Анапу, либо же про медуз и про чудо-плод фейхоа с удивительным запахом.

Быстро делалось всё теплей и теплей; и всё больше шустрых торговков бегало по перрону с чашками винограда, слив или яблок. За Мелитополем проблеснуло море.

Вдруг, ночью, поезд остановился. Люди лежали, долго молчали, после очнулись, начали спрашивать: «Где стоим?»

Вспыхнул свет, поднялись гвалт, гомон. Проводники твердили, что впереди товарный, перед каким ещё, мол, поезд. Самые смелые с храброй Викторией, спрыгнув на насыпь, двинулись расспросить, в чём дело. А предводительствовал моряк с Дудинки.

Ночь была душная. Миновали три поезда. За передним составом толпы тарасились, чтобы что-нибудь разглядеть вдаль, где стояли в свете от фары локомотива два машиниста и милицейский старший сержант.

— Фарватер! — гаркнул моряк с Дудинки, двинувшись сквозь толпу тараном. Он удалился. Вика же с трапа электровоза вдруг различила в дымке пустоты, полные ничего...

Месяц лил странный мертвенный свет.

— Что? — бросились к моряку с Дудинки, кой возвратился.

— То, что вертаемся мы до хаты. Нету дороги.

— Как так, моряк? Тю, брешешь!

Тот отвечал не прежде, чем раздавив докучного комара:

— Товарищи! Нет ни Чёрного моря, ни полуострова Крым. Всё. Вакуум вместо них.

— Что врешь-то?

— Северный флот не травит попусту якорь, — бросил моряк с Дудинки. — У самого меня в Ялте мама-старушка.

Вика, подумав, тихо спросила: — Что же, Азовское море есть, а Чёрного с Крымом нету?

— Лишь Арабатская стрелка от полуострова Крым осталась. Так-то.

— Как же Атрек? — в волнении переставила буквы Вика, чуть не заплакав.

— Я врать не буду. Глянь иди. — И моряк с Дудинки вяло махнул рукой в направлении, где Азовское море с шелестом шлёпало в Арабатскую стрелку, — всё, никаких вод более.

Люди грустно влезли в вагоны — и поезда дали задний ход, кроме первого, провалившегося в низину. Многие люди вскоре отправились на Азов, раз Чёрное море сгнуло. Вика ехала восвояси и не вставала от огорчения с верхней полки. «Скушала? А вот так тебе! Делу-время — час-потехе, час-потехе, час-потехе...» — ёрничали колёса.

Вика, вернувшись на Ставрополье, стала учиться там в сельской школе. Только учиться ей не хотелось; день-деньской она слушала радио, чтобы выяснить, не нашлось ли Чёрное море. Но, сообщалось, как воды сгнули с побережьем, с ялтами да курортами, так поныне их нет. Вздыхая, Вика усаживалась порой на крылечко сельского дома киснуть-грустить.

Вокруг были: степь, отары овец да стылое солнце. Ветры в ту осень сгнули, и кермёки (*покатуны* иначе, также *качимы*, *перекати-поле*, прочая) застревали кто где.

Один из них, — с Вику ростом, — ткнулся в крыльцо. Стараясь не наколоться, Вика в перчатках поволокла его на помойку. Но, вдалеке от дома, где их не слышали, покатун заорал:

— Влечёшь меня на помойку, девочка-хамка?

Та отскочила, в ужасе крикнув:

— Ты... ты у дома был! Ты мешал нам, кермек! Бесплезный кермек! Поэтому!

— Я?! Кермек?! Бесплезный?!.. Злая девчонка! Станетса ветер, я укачусь к чертям с удовольствием!

— Ветра больше не будет, думаю. — Вика, грустно вздохнув, принялась своей ботой шаркать о землю и сообщила. — Чёрное море напрочь пропало, и, по физической географии, оттого-то и ветер не подымается.

— Ох! — сник, сплюснувшись, покатун. — Оттащи меня к стогу сена, прямо под солнышко, чтобы умер я как достойная, благородная флора! Знай, не по чину мне чахнуть в мусоре, дожидаясь конца! Если нет ветров, мы, катящиеся шары, хиреем. — Он застонал.

— А хочешь, спрячу в сарай тебя? — предложиламышлёная и душевная Вика.

— Что?! Мне в сарай? Увольте!! — взвился кермек. — Сама живи в тёмном стылом сарае! А ведь могла бы мне пособить взаправду. Как? Покатай меня вместо ветра, добрая девочка. С виду ты, вон, спортивная.

— Ха! Я бы стала тогда как двигатель. Только я — человек! — возразила Вика в обиде и повернулась, чтобы уйти, но кермек, вцепясь в неё, завопил:

— Стой! Давай искать ваше Чёрное море? Вместе с тобой пойдём. Ибо ты, — погрозил он острой колючкой, — ты комсомолка. Где твои комсомольский задор, активность? Также смекалка, смелость, в конце концов, комсомольская где? Не совестно?

Вика свесила голову. Потому что огромный колкий кермек сказал безобманную комсомольскую правду.

Утром она заспешила в школу, а за овчарней вдруг повернула и побежала скрытно к кермеку.

Встретились, и она сказала:

— Ну, я согласна море искать и Крым.

— Идём! — шепнул покатун. — Быстрее идём, чтобы нас не поймали! Вот что: толкай меня.

Вика, в плотных перчатках, так как кермек был колкий, стала толкать его от родного села к холмам, но на первой вершине села без сил под солнцем, стылым и бледным.

— Ранец скинь! Ранец! — начал советовать покатун. — Плетёшься! Сядет отец твой на мотоцикл, догонит!

— Нет, — возразила девочка Вика. — В ранце есть нужные мне предметы... и комсомольские книжки там, чтобы мне их читать и себя без конца воспитывать.

Покатун имел травяные мозги, но думал очень недолго.

— Влезь в меня, — предложил он. — И, если катим вверх, то есть в гору, быстро беги, как белочка в колесе. Но если катим под гору — сядешь на ранец, кой закрепил на палку, коя и будет вроде как ось сквозь центр моей шаровидности.

Вика сделала, как кермек предложил. С холма она съехала, сев внутри травяного шара в центре на ранец; разве что было несколько тряско, ведь геометрию Вика знала неважно, центр рассчитала плохо.

Вечером путники проезжали стадо, или отару, наглых баранов. Старый вожак изрёк: — Бе! Шары из травы недвижны, коли нет ветра; этот — подвижный. Надобно съесть его. Полагаю, он очень вкусный, сытный и сочный! Бе, я уверен! — И он решительно подступил оскалась.

Вика, раздвинув сетку колючек крайне испуганного качима, — да не обычного, а метельчатого, — сказала:

— Дайте дорогу, глупые овцы! Я человек. Дорогу!

Кто бы дивился сим говорящим жвачным баранам — только не Вика, знавшая бóльшие чудеса: взять вакуум вместо Чёрного моря. Вика имела жизненный опыт.

— Ты человек?! Бе! Вздор какой! — рассмеялся Вожак. — Врёшь, глупая! Человек — это тот, кто стриждёт нас ножницами. Бе! Верно я говорю?

— Ох, ве-ерно! — забормотали хором бараны. — Тот, кто без ножниц, — не человек.

Подъехал пастух, сидевший у лошади на боку.

— Не спорь с ними, девочка, — обратился он. — Что взбрѣдет глупым в головы, то и делают. Вот недавно надумали, что пастух — это кто на лошадном боку сидит, и я должен так ездить, чтоб они слушались. Я устал от такой езды и отправлюсь скоро на пенсию.

— Славный, славный ты! — рассудили бараны и предложили: — Братья, давайте скушаем штуку, что прикатилась!

— Тихо, бараны! — молвила Вика, вынув из ранца острые маникюрные ножницы, ведь ей было четырнадцать и она была девушка.

Испугавшись, бараны встали в шеренгу, лстыиво заблеяв:

— Се челове-е-чище!

Вика двинулась к Вожаку и остригла его, оставив только подштанники, а потом приказала: — Ведайте, что пастух — кто сидит на спине коня головою вперѣд. Запомнили?

И бараны вмиг повторили, жалобно бляя.

Сразу пастух пересел как надо. Он улыбался.

— Ты помогла мне. Я благодарен, — проговорил он. — Девочка, чем могу я помочь, скажи.

— Чем? Мы ищем Чёрное море, что потерялось. Правда, куда нам идти, не знаем. — Вика вздохнула.

Тут пастух оглянулся и наклонился к ней из седла. — Послушай, девочка, тайну. Я её никому не выдам, чтоб не прослыть обманщиком. Но тебе я открою тайну. Пас я отару около Каспия и услышал, Каспий хвалился, что, мол, теперь он стал самый модный в эСэСэСеРе. Едь-ка ты к Каспию и спроси его. Старый Каспий, он что-то знает!

К Каспию прикатили они в холода уже и увидели, что его побережье в льдах.

— Ох, поздно! — ныл покатун. — Всё. Мы опоздали! Ты каждый день отдыхаешь длительно и читаешь всякие книжки, чтобы воспитываться. А следовало спешить. Ох!

— Каспий, я знаю, не замерзает к югу от этой... Махачкалы, — припомнила Вика. — Он от нас не уйдёт, поверь! — И она, снова вынув из ранца книжку, стала читать, да, кажется, увлеклась сюжетами в столькой степени, что, вскричав, погрозила мнимому виртуальному недругу, о котором писалось, пальцем.

В Махачкале меж тем рыбаки переучивались на лётчиков и сказали: Каспий покрылся льдом до Баку, «гюзел».

Из района Баку, где Каспий тоже застыл, пустились до Ленкорани. Там раздавались грохот и трески: Каспий тянул на себя попону льдов и сугробов с вмёрзшими кораблями. Только южнее, у Астары, пожалуй, Вика увидела его зыбкие волосы и глаза под бровями кипенной пены и закричала:

— Где, дед, Чёрное море?

Каспий, метнув в неё вал, взревел: — Главу упру в Бендер-Шах, ступни упру в Астрахань — и усну до лета! Там мы посмотрим, как вы управитесь без меня. Хьой! — Тужась, вновь он повлёк на себя сугробы, льдины, вмёрзшие корабли.

Кермек, пронзив его злой колючкой, ляпнул: — Ты украл, прошелыга, Чёрное море! И, по законам всяческой физики, старый мерзостный Каспий, ты погубил ветра! А без них моим братьям, то есть кермекам, трудно кататься!

Каспий валами перехлестнул их и отшвырнул.

— Я делаю, что хочу, допросчиков мне не надо! Вы обожали Чёрное море с ялтами-гаграми?! С ним покончено! Я велю вам впредь величать меня по-старинному: ваша честь, досточтимейший Понт Гирканский. Ну, а не то пролежу во льдах тыщу лет, так что негде будет курортничать. Хьой! Велю вам, убогие: окружите меня курортами в два... нет в пять рядов. Либо я вам напакощу... Я волшебю обучался у киммерийцев и у халдеев. Я вам не только... Я вас вообще!!!

Взмахнув рукой, он швырнул двух друзей в Сахару.

Кунцевский Прохиндей

Встав ночью, из холодильника он достал посылку (ящик-посылку, сорок на двадцать) и, пройдя в спальню, сел подле лампы. Слышался явный рокот прибоя. Он, приложив рот к ящику, тихо спел: «Утомлённое со-олнце! тихо с морем прощя-алось! в этот час ты призналась! что нет любви!» Отстранившись от ящика, он прочёл на нём: г. МОСКВА. СИТИ КУНЦЕВО. ПРОХИНДЕЮ. ОТ ВЛАСТЕЛИНА ПОНТА ГИРКАНСКОГО, — после махом снял крышку и, вдохнув ароматы пальм и магнолий, ящик подвинул прямо под лампу. Дивно блеснуло Чёрное море среди берегов своих.

«Мой Мисхор! — бормотнул он, взглядываясь в юг Крыма. — Здесь я бывал в отрочестве. Мы тогда много ели; папа учил меня плутовать... Пицунда! Здесь я бывал с друзьями. Мы много пили, ели и спорили, кто из нас всех умней... Одесса! В ней мы с любимой пили и ели на Дерибасовской, но не так, как пил тип поблизости. И она с ним ушла... Глупышка, милая Соня!» — Он прослезился.

Дверь отворилась перед юницей, пухлой, в халатике.

Прохиндей, спохватившись, спрятал ящик за спину. Грохот прибоя, всё-таки, слышался.

— Что там прячешь, папуля? Хватит стрематься. Ну-ка, дай глянуть. — Девочка шла к нему.

— Дочка, Эллочка! Спать иди! Ничего у папули нет! — увиливал Прохиндей. — Иди давай. И папуля ляжет в постельку. Спать пора.

— Блин, атас, блин! Это вааобще, блин! — Девочка стала больно щипать отца. — Нет, ты, блин, покажи, что прячешь. А не покажешь, будет истерика. Крикну, брякну, буду визжать, кусаться, дрыгаться, типа.

— Ты в старших классах, Эллочка. Стыдно!

Та отскочила, взвизгнула. Прохиндей резко дёрнулся, и она, увидав посылку, кинулась к ней, схватила.

— Что это, ящик?.. Пахнет как море.

— Т-с-с! — шипел Прохиндей, поморщась. — Если узнают — всё, мне конец...

— Ты супер! Пупер-запупер! Это ты мне? — И дочь отошла к торшеру. — Клёво, папуля! Супер игрушка! Блин, Карадаг? Блин, море... Чёрное?! То, что, типа, исчезло? Классно как! Больше Аське не хвастаться новой шубой, Греку — «харлеем», что ему предки к днюхе забацили. Я им сейчас позвоню, пусть знают...

— Ни! — молил Прохиндей. — Стыд слушать! Как можно сравнивать... Потому что не копия в этом ящике, дочка, Эллочка. Настоящее море там! Триллион всяких шуб твоих, да и всяких «харлеев», «мерсов», нарядов — вот как!

— Блин, это круто!! — взвизгнула Эллочка.

— Да, вот так, триллион. Потому что — слава, традиции, наконец... — Подыскивая слова, он медлил. Хоть он закончил ВУЗ, но давно, оттого и отвык уже формулировать мысли, ибо работал официантом. — Славная у сего водоёма, дочка, история! — вёл он. — В Ялте, там Чехов жил. Также Грин там жил, тавры, греки, Шаляпин... И Айвазовский тоже, естественно... Также Лермонтов про Тамань писал, изучали? Также татары, скифы, сарматы там, хан Гирей... Ушаков их разбил, всех турок... В годы войны в Крыму проявили мы героизм, — отчего оно, море, нынче в твоих руках, а не где-то там в зарубежных западных лапах. Крым — это символ.

Эллочка, опустив концы пухлых пальчиков в воду, взбрызнулась и сказала: — Про Авазовского меня выучат в школе, а этот ящик пусть на трюме стоит, будет вместо духов теперь. А не то завижжу.

— Пускай! — махнул рукой Прохиндей.

Однако, как дочь уснула, он перенёс посылочный ящик в «Зил», в объёмистый холодильник, тихо бурча:

— Духи мы закупим после французские. А водичка нам для другого, Эллочка, надобна. Твой папуля так сделает, что окажется страх большим человеком! Столь большим, как, как... — Выскочив из квартиры, он громко крикнул в клапан мусоросборной грязной трубы: — Как Крёз богат, будет этот пронырливый Виктор Викторыч Прохиндей, который умён, которого бортанула глупая Соня, так что которая пожалеет и прибежит к которому!

Он в трубу вопил часто от избытка пылких эмоций.

Утром он выехал на работу, — правда, машину бросил у МИДа, чтобы представиться дипломатом; после отправился по Арбату, очень серьёзный и деловитый. Только открыл он дверь ресторана с вывеской «Прага», как раздалось.

— Быстрее! К нам интурист! Все мухами!

Прохиндей влез во фрак ресторанных служек и, тряся фалдами, устремился обслуживать. Ох, и выдался интурист! На двух стульях сидел, выставя на лацкане крупный бейдж, толст до свинскости, Vorotila Finansovich, businessmen from America (Воротила Финансович Бакс, бизнесмен из Америки). Прохиндей, трепеща, подал блюдо, шепнув:

— Вери гуд. Ай хэв бизнес. Вери биг бизнес, сэ.

Тот окрысился. — Я из Штатов не шутики шутить, но содействоват демократия! Сколько бизнес ваш — сто рублей, триста, тысяча? Я смешно!!

Прохиндей, пятась, выдавил: — Миллиарды! — и убежал.

Потому что на них уставились, чуял он, соглядатаи. А ведь лучше иметь вещь, чем не иметь её. Всюду были коварные кагэбэшники.

Времена были жуткие, и за связь с иностранцами схлопотать можно «выщечку».

В полночь случилось ненастно; он покидал ресторан волнуясь и, проходя мимо «линкольна», услышал:

— Друг, сделка?

Пухлой рукой манил его интурист.

Лишь сунулся Прохиндей к машине, как засвистели. Разом отпрянув, он пошёл тротуаром сквозь дождь и ветер.

«Линкольн» тронулся следом, а Воротила Финансович, опустив стекло, прокричал:

— Плут!! Жалуйся в МИД! Надгнул меня, так я буду сказывать им!

Пара прохожих остановилась, а милицейский ближний патруль рванул на крики.

— Здесь не могу... Секретность! — жалко хрипел испуганный Прохиндей, ускорив шаг.

Воротила Финансович думал быстро. — Я по проспект Калинин там разгоняйся превращайся в птица ворона. Вы — разгоняйся там тоже и превращайся. Я все колдóвства делать запрóсто. Мы летим очен тихий камерный мест какой для беседовайт бизнес. — И он умчал на «линкольне».

На проспекте Калинина было много светлее и оживлённее, хоть осенняя ночь угрюмилась, и блестел, удваивая машины и фонари, асфальт. Встревоженный Прохиндей за транспортной полосой проспекта высмотрел Воротилу Финансовича, кой, махнув ему, устремился от «линкольна» тротуаром, путаясь в полах чёрной огромной, пышной, собольей, как бы мерцавшей искрами шубы. У ювелирного магазина, вскинув руками, он полетел вдруг чёрной вороной, начал кружиться, каркая!

Прохиндей, оглядевшись, снял с себя шапку и припустил, но шлёпнулся, извозив одежду. Громко поржали пьяно фланирующие юнцы:

— Дед, в винный, типа, хреначишь?

Встав, Прохиндей затрусил прилично, каясь, что в сорок лет своих с параноиком спутался и решил, дурак, «разгоняться», как псих советовал, дабы якобы «превращайся». Через мгновение вновь пять раз подскочив с распластанными руками, он застыдился и повернул в проулок, изображая, что не его преследует с злобным «каррки!» птица, кою со смехом стали ловить слонявшиеся повесы. После ворона (тот превратившийся интурист) опять его нагнала, вопя так громко, что Прохиндей помчался... вскоре ударившись о метлу. На ней пролетала ведьма, звать Алгаритма, так что другой конец этой самой метлы огрел Воротилу Финансовича...

Ведьма? Чуд было вдосталь в восьмидесятых!

Троица, грохнувшись об асфальт, ползла под густо падавшим снегом в разные стороны.

Вмиг повесы выловили ворону и, уходя, заметили остальных, а именно ведьму и Прохиндея.

— Шобла прикольная! Пьяный дятел, мля, при бабце с метлой! А бабца-то, мля, голая! Мля, лови её!!

Первой вскинулась и бежала голая Алгаритма; следом мчал Прохиндей. На Арбате, сквозь снегопадный свет фонарей разглядевши окно и в нём форточку, пропихнулись в неё.

Хулиганы где-то вовне кричали: — Где козлы? Где-то здесь... Баба голая, а другой с ней, мля, иностранец!

— Ноу! Иностранец есть я! — вдруг высунулась из сумки, в кою втолкали её, ворона. — Жаловайт МИД пойти! Ваш дрянной русский бизьнис! Я забывайт слова превращайся обратно! Вы меня в „линкольн“ быстро несите, где мой там собственность! Я есть Бакс Воротила Финансович!

Уххатываясь и дразня его, забулдыги ушли, прикинув, что надо в цирк идти, ведь в каком-нибудь цирке за говорящую, пусть с акцентом, птицу им дадут сто рублей «железно»: «хватит на выпивку, на крутое бухло, ага».

Прохиндей, застонав, сел в кресло, бывшее в комнате, где они случились. — Боже! Скандал... Серьёзный! Международный! Влип я... Матушки-светы!

— Эй, помолчите, — вставила ведьма, кстати вернувшая колдовские свойства, и Прохиндей узрел белый ком простыней в прядях чёрных волос. Ведьма куталась в эти простыни. — Вашу птицу отправят, как объяснили, в некакий цирк, и всё. Ничего с ней не сделают.

— Не моя она... — Прохиндей, прошептав так, вспрыгнул неловко на подоконник, сунулся в форточку первой рамы, стал звать милицию. Алгаритма, сдвинувши створку внутрь, затворила внешнюю форточку, ту, в которую перед этим оба пролезли, очень легко причём. Прохиндей, поняв, что застрял в этой внутренней форточке, замер.

— Нишкни! — молвила Алгаритма. — Толку ли горло драть? Я-то, знаете, вылезу, да хоть в щель; мне просто. Вас же застанут — инкриминируют ограбление. Восемь лет по статье.

— О, боже! Как?! Мне нельзя! У меня ведь планы! Вытащите! Пожалуйста! — бился в форточке Прохиндей.

— Вы крепко засели, — хмыкнула ведьма. — Без колдовства не вырвать, ногти сломаю. — И Алгарима их показала, длинные, страшные (Прохиндей задрожал). — Висите. Завтра хозяева вам помогут.

— Где мы? — частил он, дрыгнув ногами в чёрных ботинках.

— *Мы?* Нет — где *вы*. Я здесь временно. Но, возможно, останусь, раз опоздала, кстати, на шабаш... Вас угораздило в альманах «Ква-квá», конкретно в отдел поэзии.

— Угораздило?! — прокричал Прохиндей, брыкаясь и извиваясь. После обмяк заплакав. — В сорок лет я здесь в форточке зависаю, вроде затычки. И дожидаюсь, чтобы пришли писаки и пропечатали!

— Тише. Не пропечатает вас никто. — Алгаритма, пройдя в своих простынях, потянула из шкафа папку-вторую, кинула их на стол, цитируя: — Ишь, „берёзонька в полюшке“... „Гуд завода с душой гремит в унисон“... „Помню время тяжкой години и треволения“...

Папки плюхались и выплёскивали, как воду, оптимистичный, действенный оптимизм, по-рыцарски уступавший место восторгам либо печалям ищущих настоящей любви девиц и дерзаниям юных, очень талантливых заместителей косных старых начальников. Грохотали заводы, вспахивались поля, а метро уносило людство на труд, преисполненный битвой мнений, спорами и конфликтами ввиду схватки хорошего с наилучшим... Чтобы торчал кто в форточке или чтобы какой-нибудь там нач. пом. потерял нос, как Ковалёв у Гоголя, — сего не было.

— Ибо, раз не реальность — значит, не нужно, — кончила Алгаритма с папками, что кидала на стол.

— Довольно в них в меня брызгать, с вашенских папок! — нёс Прохиндей. — Я с этой жирной наглой вороной, после и вами ужасы пережил. Выясняется, это всё не реальность?! Но почему тогда я торчу здесь, в форточке, а вы брызжете с папок каплями?.. Кстати, как мне вас звать?

— Зови меня Алгаритма Ивановна.

— Нет! По мне, — твердил Прохиндей, — лучше жить в их реальности без ужаснейших ужасов, чем страдать в нереальности, о какой, ко всему, не пишут. Нет, бога ради! Я только скромный официант, поймите...

— А!!! — взвела ведьма, кинувши папки в шкаф. — До *Бога*, стало быть, добрались, да, „скромный“ официант? Мнишь, мне тебя не понять? Напрасно! Вижу, что ты не „скромный“ официант, а гнусный, неосвежёванный жирный хряк. Тебя подпалить на вертеле?

Ощувив прилив дурноты, тот дрыгнул ботинками. — Алгаритма Ивановна, да вы что?! У меня есть паспорт...

— Брюхом живёт, подлец, а туда же, глянь! Ишь, на *Бога* заносится! — Ведьма рухнула в простынях своей, раздражённая, в кресло и закурила. — Ну, скромник, хрюкни.

— Запросто! Хрю вам! Хрю на здоровье тысячу хрюков, добрая Алгаритма Ивановна! Люди, знаете, разные. Вы летаете на метле себе, кто-то там на заводе; я же всего лишь официант, хрю... — Так он трещал почти час, считая: доводы у него бесспорные.

Вдруг она повела ту створку, где он висел. Он ткнулся в грязные стёкла рамы наружной и замолчал в обиде.

Ведьма заснула. Утром, туманным, серым и зябким, с щёлком замка проснувшись, молча рассматривала вошедшего. Подвижной, энергичный, гладкий, ядрёный, он, по всему судить, очень точно прощупывал пульсы времени и поэтому мог читать популярный стих «Гул столетия» наизусть в обратном порядке, резко выбрасывая в такт кверху кулак, оттого был ценним начальством и имел вид имел бодрый, оптимистический. А ещё — он всех видел насквозь, считал.

— Пам-пара! — спел он, сняв пальто. — Поэтесса?

— Я поитесса, — душой представилась Алгаритма.

— Ваш ухажёр? — кивнул человек к окну, начиная копать в сваленных на столе бумагах. — Кто вас впустил?

— Хрю, — выпалил Прохиндей. — Хрю-хрюби!

— Он будит в форточке этой знаите сколько? — вставила ведьма, «йкая». — До покуда меня вы ни напичатайте.

— Простыню нацепили, чтоб выделяться? — вёл человек и стал рыться в шкафу. — Что же, пишете про любовь, голубушка?

— Про любовь! — запищала та, предъявляя папку цвета космеи. — Есть про природу и производвинная тиматика. Без меня не поймёте, так как моя стиливая манера своиобычна, Фёдор Иванович.

— На-Горá Александр Матвеевич я по имени, — он поправил, роясь в шкафу по-прежнему. — Вы оставьте мне адрес, я позвоню... И велите ему вылезать к чертям.

— Хрю! — вскричал Прохиндей, поёрзав.

— Только звоните чёрною ночью, часика в три, Сашуля. Днём я творю верлибры. Дом мой здесь рядом, в тихом проулке. В Среднеписковском. Малинькая мансардочка в стиле ретро... Ах! Сядем вместе под абажуром, будим беседовать о по-эзии и искус-стве, и про истетику. Ах, московский мой дворик, снегом покрытый... Свежесть и сила, свежесть и сила! Хоть до утра. Вникаете, Аликсандр Матвеевич.

Тот оценивающе взглянул на ведьму. — Я понимаю.

— Хрю же!

— Можно надеяться, что меня у вас напичатают?

— Нет, в ноябрьском номере нет. — На-Горá посмотрел на простыни, в кои пряталась гостя. — Полный шкаф текстов. Есть очерёдность... Может, в июне? Может, я нынче вам ночью звякну. Ладушки?

— Ни прощаюсь в общим, милейший, — томно тянула ведьма, вставая. — В вашем шкафу мне нет конкурентов. Осознаёте?

— Понял, — Он подмигнул. И, пока он подмигивал, Алгаритма втиснулась в скважину от дверного ключа и исчезла в ней, оставляя одну простыню к возбуждению На-Горы, к ней прошедшего и помявшего край руками. — Дура полнейшая. „О по-эзии и искус-стве“... — передразнил он. — Разве, однако, очень смазлива и обитает, курица, рядом... — Волосы у него поднялись в волнении. Он взял папку, ею забытую, чтоб узнать её имя и позвонить. — Цветаева. Из неизданного... — Похмыкав, он потянул тесёмку, начал ворочать пальцем страницы.

Вызвонил телефон: «Ты, Саша? Эт' Перекриков». — «А-а, заходи, брат, вёрстку сдаём. Слышь, звонко, знаешь, написано, с оптимизмом, как это любят». — «Хоп. Ну, бегу к тебе...» На-Горá, бросив трубку, стал вспоминать, кто б сделал ему фотокопию этой папки, ибо Цветаеву в ту эпоху не издавали в полном объёме.

— Хрю-и! — из форточки обронил Прохиндей.

«Дз-з-з!!» — начал звон телефон.

«Я слушаю». — «Александр Матвеевич? Я от Ухерина. Пётр Ильич просил...» — «Да, я понял... Сильная, искренняя поэзия! Весь отдел читал с упоением! Передайте, стало быть, для Петра Ильича: печатаем в новом номере... Да, я сам забегу к вам с вёрсткой... Я изумлён! Министр, поглощённый, можно сказать, масштабами, мощно выразил душу в слове!.. Да, и почтение от меня, редактора На-Горы, Петру Ильичу нижайшее. Всё, ищу вашу вёрстку — и сразу к вам стрелой».

Бросив папку с Цветаевой, На-Горá устремился к шкафу, где и застыл на миг, чтобы вслед извлекать из шкафа папку за папкой и бормотать: — Что?!! Данте, черновики?.. Неизданное Шекспира?.. Блок, вновь неизданное... Бред, сюр сплошной!.. А где Риммы Синичкиной „Слышу душу“? „Радужные дали“ Пенкина? Пётр Ильич где с вёрсткой „Честь коммуниста?“

Он заметался, роясь в шкафах и сдвигая толстые стопки множества рукописей.

— Хрюй-хрюйи!

— Вы ещё здесь, кретин? — Подскочив, На-Горá потащил Прохиндея грубо из форточки и схватил за грудки. — Стоп хрюкать, сволочь такая!!! Где мои тексты?!!

— Хрю!

— Хрю и я могу, чёрт дери! Что прикажете мне печатать?! Вашего Данте, хлам этот древний?! Имечко ваше не Подсиделов, хрю?! А — в милицию! Разберёмся, что вы тут лазали! — Он повлёл было хрюкавшего мужчину, но, озарённый, кинулся к трубке и, позвонив по номеру ведьмы, выслушав: «Да, але! Комитет безопасности», — чертыхнулся и поволок хрюиста с яростью вон из комнаты.

По причине того, что отделе в милиции и истец и ответчик хрюкали, а порою визжали, точно свиноты, их проверяли на алкотестере раза три; убедившись в их трезвости, просто выгнали. На работе, по этой самой странной болезни частого хрюканья, Прохиндею и На-Горé дали экстренный отпуск. Оба забегали по инстанциям, жалуясь; им мерещилось, что они говорят, но внимавшие слышали только хрюканье. Потому их не поняли, осудили общественно.

Вскоре многие по Москве захрюкали, о сем факте не ведая. От хрюистов шарахались, чтобы их не обидеть смехом либо абьюзом, а отвечали, коль приходилось, очень уклончиво, обтекаемо. Все стремились водиться только с нормальными, чьё число сокращалось день изо дня, увы. Как итог, не затронуты хрюканьем оказались лишь дети да маргиналы. Старые дружбы рушились, телефоны стирались за невозможностью делового общения, ну а новые без конца вносились в память, в блокноты... но постепенно тоже стирались.

Только что в лифте жутко расстроенный Прохиндей спешил от бывшего друга, коему изливал свою, так сказать, «всю душу», вместо участия слыша скотские звуки и наблюдая взоры смущённых, скошенных набок подленьких глаз. «О, Господи! Надо сбыть *товар* и бежать из свинарника!» — произвёл он видимость мысли, вспомнив: ведьма сочла цирк местом, где, мол, окажется Воротила Финансович.

Верно, дни назад цирк купил говорящую, но с акцентом, птицу, то бишь ворону, звать *Corvus corax L.* по латинскому, столь, однако, скандальную, что был вынужден, вслед за тем как означенная *Corvus corax L.* провалила наглым молчаньем номер, сдать саботажника в зоопарк. Прохиндей срочно отбыл туда. Прочь, слоны, бегемоты, львы, крокодилы, гризли и грифы с

вечно стоящими подле вас почитателями царей! К сетке, запершей пару чёрных каркуш на клёне!

— Хрюй-ахрюй!

Воротила Финансович сунулся из пожухлой красной листвы, подумал и подлетел.

— Ай хрю пропавший Крым и Black sea, хр-р-р! — вёл Прохиндей с оглядкой.

— О, я вам веррь, друг. Yes, очень верь вам! — каркнула птица. — Но — желайт убежаться для обсуждайт наш бизнес. Ночью рви сетка, вместе идём к вам, yes?

— Йес, сбхрю, сб-хрю кохрюки... — пролопотал гость; на человеческом это значит: да, я согласен, ждите под полночь.

— Ви насмехаться?! — Взмыв, Воротила Финансович полетел вдоль сетки с гнусными криками, привлекая люд. — Отвечайт мне прямо: да или нет. Поньятно. Что это хрю ваш? Это двойной ваш игра, быть может?!

— Хрюнь! — сказал Прохиндей, пускаясь прочь и помыслив, что с чёрной птицей, в кою скукожился Воротила Финансович, дел вести невозможно из-за привычки к самопиару и буржуазных наглых манер богатого интуриста, что привлекают крайне чреватые Магаданом либо тюрьмой последствия.

В полночь он, расхрабрившись, всё же явился, — правда, дрожащий, — нервно порезал сетку щипцами, сунул ворону молча за пазуху и пустился тёмной аллеей к выходу. Но, поскольку на всяческие вопросы от интуриста он отвечал придушенным робким хрюканьем, тот, обидевшись, вырвался, разодрав ему плащ и каркая. Замелькали два фонаря; послышался топот с лаем. Вор скользнул между прутьев старой ограды, влез в «жигули» и яростно газанул, шепча: «Вот психопат, хрю! К чёрту!»

***Распространялась страшная эпидемия,
и о встрече Актрисы с некаким Скептиком***

Скептик, какому жизнь надоела, начал вечерний путь с Красной площади, прежде выйдя на станции «Пл. Революции», а до этого отработал в Обществе, побуждавшем люд приобщаться книгам. Встав на брусчатке серого цвета около липы, он разлагал нрав встречных чуть не на атомы, благо сумерки и позёмка мало мешали. Он саркастически и скептически думал: к огненным окнам ГУМа рвутся заштатные быдловатые модники в дорогих дублёнках, лбы их в испарине; через час самолёт унесёт их в Ямбург с парой «Столичных» водко-бутылок и с диском шлягеров, каковыми затуркают самоё себя эти модники до того, что спустя сорок лет «Час с песней», буде он быть, вновь вкрадчиво замычит: «Нефтяники из Сургута, м-м-м, Разудалов и Удалоев, просят, м-м-м... вновь поставить им песню прошлых лет „Позвони“, что напомнит им молодость и поездку в отпуск в столицу, м-м-м... нашей Родины». Растолстевшие, седовласые Разудалов и Удалоев выдавят слёзы...

Скептик двинулся крупным шагом к метро, отметив: близ спешат размалёванные красотки, занятые чириканьем; в баре шлёпнутся на седалища и, воткнув в пищеводы трубочки, обводнят себя в предвкушении судьбоносных, явно что с принцами, очень фирменных встреч... А всходя на ул. Горького (нынче то есть Тверскую), Скептик упёрся в стройные ножки юной девицы, манкой настолько, что, поглупевши, двинулся следом. Та вошла в дверь отеля; он образумился, усмехнулся и притворился, что — наплевать ему.

У театра Ермоловой он столкнулся с давним знакомцем, модным хлыщом, работавшим в Продинторге. Этот знакомец с бодрым уверенным громким хрюканьем потащил его в «Марс», кафе-бар, где долго, оптимистично хрюкал о чём-то.

— Да ничего живу, — брякнул Скептик в конце концов, чтобы что-то ответить на маловнятное от знаконца хрюканье. — Я работаю там же, те же заботы.

— Хрюсья? — ткнул его в бок Хлыщ, хихикая.

По ужимкам и тону предположив интимное, Скептик начал размыто и отвлечённо: — Радуюсь редко. Видишь ли, для меня все точно повапленные гробы; и редко встретится человек. Я сам есть, в принципе, гроб повапленный. Ты прислушайся: все-все хрюкают!

Оглядев снобистски столики рядом, Хлыщ бодро хрюкнул, что, мол, реально, все недостатки; модники редки, то есть у этого ткань на брюках отстой, из Сранова и Засранова, а у той причесон не фирменный, из Уссынска-Жопозадротска, хрю! Сам он — Хлыщ — заглядение: туфли, брюки, носки брендóвые, чумовой прикид! А ремень? воротник?.. Ты мо-жешь назвать в нём недофирму? Он хрюкнул официанту, и принесли коктейли.

Следовали признания в форме хрюканья, вроде тех, что тоска пошла, все визжат: на работе вроде приличный люд, презентабельный, но язык — поросячий, хрю! у начальника уточняешь план — он бурчит, как хряк. Или дома с женой общаешься — только хрю в ответ.

Скептик долго внимал приятелю, — правда, уши сдавив ладонями, чтобы хрюк не тиранил слух; наконец, подскочив, прервал:

— Стоп! Хватит! Мне надоело. Это всё ваше. Я подчиняюсь личным законам и не желаю вляпаться в ваш свиначий навоз, хрюй... — Он умолк и, взглянув на Хлыща, побледнел, как смерть, после выбежал из кафе.

В проулке густо снежило. Горестный Скептик так был сражён случившимся, то бишь собственным хрюканьем, что забыл свой обычай взглядывать в окна и подвергать увиденное анализу.

Чёрт, он *хрюкает!* Он такой же, как все! Усмехнись он вдруг с превосходством, как бы скептически, но его аргументами будет разве что «хрю»?

Проклятие! Он снял шапку и участил шаги, чтобы холод сдерживал пламя, коим он делался. В сквере пять хрюкачей, танцуют под маг, визжали. Скептик заплакал, мысля: он теперь как они и различия нет. «Я свинотища, хряк!» — он понял. Тополь поодаль, сдвинувшись с места, дал ему оскорбительного пинка по заду.

Ошеломлённый, Скептик пришёл домой и свалил философские книги в угол: Лейбница, Н. Кузанского, Лиотара, Ницше, Бердяева, Бергсона да Пиррона, а после этого стал читать детективы, двигаясь к свиному состоянию.

Он, на службу придя всех раньше, сел за стол и поёжился от того, кем стал. Затем пришла и Трещи Какпредписовна, журналистка, бодро писавшая для правления Общества тексты громких докладов, постановлений и резолюций. Прямо с порога дама расхрюкалась оживлённо. Скептик встречал её молчаливой скорбной улыбкой.

— Хрюй? — вела она вопросительно.

Он сыграл, что не слышит.

— Хрюй! — суёт ему текст: наверно, просит проверить, прежде чем сдать начальству.

«Встретим славную дату», — было в заглавии. Дальше следовало: «*В преддвёхрю этой знамёхрю, дáхрю Великой сохряй октяхрю нáхрю...*» — на протяжении сорока страниц, исключая пассажи циферных данных. Вытерев выступившую испарину у себя на лбу, Скептик вымарал всю бессмыслицу. Журналистка, обидевшись, стёрла цензорский карандаш и пошла в кабинет заведующего отделом. Скептик, услышав звон телефона, взял трубку, кашлянул, опасаясь, что вместо «слушаю» скажет свиную чушь.

— Хрёй-óу?

— Хруа́х!!! — он выпалил, брякнув трубку на место и заключив немедленно, что, раз осознаёт, что хрюкнул, может не хрюкать? Вновь звонок, прежний голос. Он произнёс слова, повторяемые вседневно: — Общество, адрес Звонкая, дом пятнадцать.

Вроде не хрюкает, но, возможно, так ему мнится?

Из кабинета, что по-соседству, слышался визг Трещи Какпредписавны. Скептика пригласили. Хрюкая боровом, завотделом тряс принесённый доклад, внушая, что, коль сотрудники и в дальнейшем будут носить ему свинский бред, последует, хрю, оргвывод. Так что доклад низвергся в мусорную корзину. То бишь, точнее, он, завотделом, мыслил, что объяснился ясно и внятно, ну, а на деле хрюкал.

— Хэврики?! — вскинулась журналистка, что означало: мало, терплю от вас, хрё, хрюканье, сочиняю бессмысленные отчёты, вы возмущаетесь?! Хряй, уволюсь — после посмотрим, как вы отхрюкаетесь в парткоме, боров вы этакий! — И она унеслась в слезах.

Завотделом, глядя в окно, профукал, что, мол, хорошего отношения кое-кто, чёрт возьми, не ценит, не понимает. Вместо чтобы отправить её в психушку с этой вот свиноманией, с нею возятся; но теперь хворь сказалась, фы-р-р-р, на работе; вы не откажетесь подтвердить скандал у шефа, я к нему понесу сейчас пороссячую компиляцию этой чушки; вы же займитесь, храйю, докладом; вот вам начало, — и Завотделом в старых бумагах ткнул в зачин одного из бесчисленных выступлений канувших пятилеток.

Скептик представил, что надо делать.

Он, возвратясь за стол, взял лист, взял ручку и ознакомился с образцом:

«В преддверии знаменательной даты, в свете постановлений последнего пленума Общества, наш отдел, вдохновлённый партией, принял вновь повышенные обязательства, а вдобавок активизировал и повысил... невероятный энтузиазм...» пр.

Хмыкнув скептически, он списал первый слог и второй, но едва потянулся к третьему, как рука изогнулась произвольно, выписав «хрюблики». Лист немедля был смят, и на новом листе он опять черкнул стремительно, что «в преддвехрю знамехрю...»

Он, вскочив, побежал в коридор, а потом — от десятка дверей, за которыми хрюкали и несли околесицу заражённые хрюканьем, плюс гремели машинки и телефоны. Вдруг Активистка из местпрофкома кинулась встречу и завизжала, чтобы он к вечеру написал ей «типа, призывхрю и вдохновляхрю; типа: повысим, активизи-хрю и хрюй улуч-хрю...» — «Лáхрю», — сказал он и ужаснулся этому «лáхрю» вместо обычного «Ясно, ладненько». Он нырнул в туалетную комнату, где, умывшись холодной водой, стал и долго курил. Заразился, понял он, хрюканьем, но курьёзно: осознаёт болезнь... Резко хлопнула дверь, тут как тут Балабол: ещё тычется с сигареткой с маху прикуривать, а уже бодро хрюкает и подмигивает проказливо: дескать, что, загнала работёнка в чёртов сортир, хы? это терпихрю! а вот сюда ещё стол поставят, чтоб и нужду справлять и бумаги строчить храй! он умотался хрень им выдумывать, лично он им не конь, хрю! сбагрю текст — и адью, хрю! сивку уездили! на носу годовые отчёты, хр-р! жизнь у нас — мертвецу позавидухрю! надо сматывать из дурацкого Общества, так сизить, блин! пусть пишут сами! хрюй, а концовочку не подкажешь? чтоб, значит, звонко: активизицию и вдохновляхрю!..

Скептик не выдержал и бежал на холодную улицу, чувствуя, что безумеет.

С ветром сыпался снег на трассу, на тротуары. Транспорт полз в пробках, часто сигналил, так как на крышках канализаций грелись собаки, коих обкаркивала взъерошенная ворона с древнего тополя. За забором плыл кран, верещали лебёдки, часто постукивал мастерок.

— Мать моя, ты раствор подашь? — матерились со строившегося дома. — Ивлев приехал!

— Что мне твой Ивлев? Хрен он, твой Ивлев! — вскрикивал кто-то. — Мне надо семь машин, а он две дал.

Скептик через ворота выбрел к группе строителей — попросить покурить, ведь свои сигареты он где-то выронил в бегстве от Балабола.

— Корреспондент ли? — кто-то спросил.

— Нет, с Общества, — стал прикуривать Скептик.

— А, хрюкачи? Понятно... Ну, сколько в Обществе платят вам?

— Под сто семьдесят в месяц.

— Тю, Москва, ты больной, да?

— Связи не вижу.

— Семью содержишь?

— Я не женат.

— Ты к нам давай, коль не пьяница. Я дам двести сначала, дальше — как выйдет. Я тут прорабом. В людях нужда. Бывают командировки: Север, Кавказ, Дэ Вэ. С полевыми! Интеллигент у нас в мастерах. Пришёл покурить — остался. Что я болтать, грит, буду, с ними хрюкачить? Лучше работать. Трудится чётко.

— Хрюкают здесь?

— Нет! Хрюкнешь — кран тебе блок на голову. Слово — дело, хрюкать опасно, ёш. — И Прораб почесал лоб. — Дома бывает. У телевизора иль в газете хрюканье видишь — ну и сам хрюкнешь на автомате... Спрашивали начальство, что, мол, творится. Нам директиву с этими... с хрюе-глифами... Сам Ухерин — слышал такого? — был к нам проветривать нам мозги. Это, мол, эпидемия, говорит, прёт с тлетворного запада... А потом как обычно: типа, в преддвехрю, значит, знамэхрю... Ивлев, стой!! Паразит такой... — и Прораб умчался.

Скептик, взглянув, как каменщики работают, взял курс к Обществу.

Между тем подле крышек канализаций длилось сражение. Псы гоняли ворону, что, опустившись в тёплый оазис греться, громко скандалила:

— Зверь вы!!! Я обдирайт вас шкуры как человек стань! Дай мой хвост и крыло из зубов, проклятые!

Скептик палкой прогнал собак, и ворона, сев ему на плечо, замахала драным крылом.

— Друг, ехай! Быстро! В „Националь-отель“!

Перья птицы были встопорщены, и она толклась на плече его сизоватыми лапами, до когтей почти скрытых чёрными перьевыми штанишками. Рассмеявшись, Скептик пошёл с ней. Но, правда, прежде двинулись в Общество, где, пока он писал, спеша, заявление на расчёт в связи с увольнением, птица нервно расхаживала взад-вперёд по столу, ворча:

— Этот русский традишн есть волокитство, бюрократизм! Как можно с ваш вялый темп стать сильный финансовый, политический и промышленный лидер? — Пóходя, птица скидывала бумаги, бывшие на столе в избытке. — Кой чёрт бумаги?! Бизнес не надо много доказывать; он доказывает сам себя!

— Ты, кажется, из кремлёвского, зоопарка? — Скептик язвил. — Подкована в политчести.

— Не понимайт ваш этот ироний! И не желайт шутить!

— Хрюй? — влетела в дверь журналистка, — та Трещи Какпредписавна, — спрашивая бог весть что.

— Хряки! — выпалил Скептик, встал и услужливо указал вороне, каркавшей на столе, на выход. — Please, пардон.

Обозначились сумерки, когда вырвались из метро и двинулись на Неглинную. Так как птица за пазухой у него рельефилась, подле Лавки писателей проходящего Скептика обстреляли вопросами:

— У вас что? Продаёте что?

— Всю «Историю государства Русского» в двух десятках томов, — сзубоскалил Скептик и продолжал путь, но близ троллейбусной остановки был окружён барыгами. Он шагнул к милицейской паре, бывшей поблизости. Спекулянты рассеялись.

За Садовыми Скептик шёл по бульвару вдоль фонарей обочь. Из-за пазухи птица вылезла вновь ему на плечо.

— Знакомиться: Воротила Финансович по фамилия Бакс, миллиардер.

— Я Скептик.

— Русский философ? Первый вопрос вам: с вами куда идём? И второй вопрос: у вас нет история, ибо люди бежали вслед, так как вы им сказал, что у вас история?

— У нас есть история, но политико-династийная. Потому-то история не страны как есть, а история повелителей от варягов, немцев, татар и прочая. Вскоре будет история от Америки, будем вам подражать во всём. Мы всегда подражатели, кроме сталинской эры.

— Я понимаю вас, кажется... — Воротила Финансович сунул клюв к его уху. — Битва идеологий? Западный дух токсичен, yes? Но мой фирм поставляет джин, ром, виски. Горький, Калинин-стрит — есть в любой магазин! То ест я повышайт ваш дух, вам содействуй помощью виски с крепостью духа в сорок процентов. Как Соловьёв писал, что вино укрепляет нервный энергий, психику тоже; приумножает дух. Очень сильно полезно, помню страница семьдесят восемь, том помню восемь из сочинений тот Соловьёв, цитировал я на лэйблы для винный экспорт в ваша Россия, в ваш СэСэСЭР, крррахх! — и Воротила Финансович засмеялся, но замолчал потом. — Чьёрт, знакомый ландшафт, простыте... Это не путь к отель!! — Он сорвался с плеч Скептика, громко каркая, и уселся на ветку старого клёна. — Требовайт правды: мы есть куда идём?

— Мы идём в цирк-театр, к дрессировщику Дурову.

Птица, вспрыгнув метром повыше, стала скандалить:

— Shit, но я был там! Продан как в рабство парой злодеев! Был потом в зоопарк! Я не есть натуральный птица ворбн! Я есть дружеский гость, позабыв слова превращения в хомо-сапиенс. Крраххи, крраххи!!! — Птица бузила, каркала нервенно.

Весь бульвар взгомнил воронами, налетевшими тучею. Воротила Финансович, сверзаясь сверху в кусты, по земле прыгнул к Скептику. Но враги-перехватчики устремились извсюду наперерез ему. С жалким карканьем он, взяв в сторону, пересёк неширокий газон и влетел в сумку девушки, что шагала откуда-то и куда-то. Та задержалась, спешно раскрыла сумку и кшыкнула. Птица, бусинкой глаза зыркнув на каркавших над бульваром врагов, влезла глубже в одежды близ целлофана с пачкою масла, сыра в бумаге и овощей в пакете. Девушка, фыркнув, сумку встряхнула, и превратившийся, дабы часом не выпасть, впился в изнанку сумки когтями, начал бить крыльями, а затем, так как девушка тщилаь взять его за трепещущий хвост, он клюнул её в перчатку, каркнув истошно:

— Русский проклятый гостеприимств? Не трогайт меня, мисс, для-ради Бога!

— Птица учёная, — выдал Скептик, приблизившись. — Я её транспортировал к Дурову, приключилась размолвка, птица и вырвалась.

— Ноу птиц я! — опротестовывал Воротила Финансович. — Я есть друг из Америка, терпевающий сложный временный трудность, shit!

Банда местных птиц рода врановых, углядев его, разлеталась воинственно, ибо он был не «согпнх», нет, он был «согвах», да плюс чужак.

Подумав, девушка, выпрямься, предложила: — Please, полезайте, где находились... — Снова наполнив ёмкую сумку, но осторожно, чтобы не стиснуть в ней иностранца, девушка кончила: — Объяснимся в пути. Идёмте. Здесь нам мешают.

Скептик кивнул ей и присмотрелся. Девушка стройная, как стилет, косы чёрные, говорит и не хрюкает. Снег, посыпав, странно зайскрился на пальто её и на шапке красного цвета, на оперении Воротилы Финансовича, высунувшегося из сумки, также на Скептике. Оба двинулись. Шли в молчании

— У вас тень под глазами, — проговорил он. — Как вы? В порядке ли?

— У мисс тени, да? Я весь-весь black! — куксился согвах, то есть, выходит, ворон породой, а не ворона. — Я как здьесь чувствую, вы не спрашивайт?! — И он выкаркал повесть бед-

ствий, главное утаив: — Иду гулять по Калинин, там сильный ветер, я полетел вороной. Долго ворона, месяцев пара! Финт кагабе! Я жалуюсь Белый дом, yes!

— Птицу учили, — съёрничал Скептик, — в качестве, видим, агитплаката против оскала капитализма.

— Некто, не помню кто, повторял: если вам говорят, услышьте, *что* говорится, — молвила девушка.

— Потому у нас всюду хрю и хрюисты. — Скептик похмыкал. — Вы, слава богу, умная. А вдобавок красивая.

— Гм... не надо нам отвлекаться. В данный миг, — подытожила девушка, — важно просто помочь несчастному.

— Странны ваши заботы, — ёрничал Скептик. — Верите дрессированной твари в перьях, так? — Скептик в силу скептической философии был обязан в факты не верить.

— После давайте этот ваш русский нудный дискуссий! Yes? Я доказывайт! Вы иди телефон — а оттуда звонить секретарь мой. Вы убеждайся... — И иностранец, взвившись из сумки, перелетел в далёкую телефонную будку перед фасадом мрачного здания.

Скептик с девушкой побежал к нему через снежный газон, и она так легко перелезла через оградку, что окаймляла сквер, что он задал вопрос:

— Спортсменка?

— Нет, я актриса. Лучше танцовщица.

Минув узкий проезд, оба выбрались к телефонной, в ржавчине, будке перед фасадом мрачного здания. Воротила Финансович сообщил им номер и, на английском, вскаркивал в трубку.

«Кррах, это я, Смит!»

«Вы?!.. Что случилось, сэр!! Ваше это исчезновение... Где вы, что вы? Может, в больнице?»

«Shit, Смит! Оповестите наше посольство и убедите не подымать шум... Да, без политики; ни на йоту политики... Намекните им, что коммерческие, но и личные интересы вынудили так сделать... Не беспокойтесь. Да... До связи...»

— Кончъено. Едем к мисс тепъерь, — предложил интурист сердито. — Я живайт буду с мисс пока.

— Почему же, — встрял Скептик, — с мисс? не в цирке?

— Кррррах!! — огрызнулся, дёрнувшись, ворон.

— Ладно уж, — поддалась Актриса и распахнула сумку. Птица в неё скакнула, мстительно клюнув Скептика. — Я живу, но недалеко, в Бутово, — уточнила она.

— Плевайт! Так как главное — жить с персон, уважающий твой персон. Отчень нужно крепкий подмоги для отчень важный выгодный бизнес! — кончил он и уснул, ткнув голову в связку зелени.

Скептик нёс тяжеленную сумку и близ метро заметил: — Он ведь мужчина.

— Он для вас с неких пор не птица?

— Мне безразличен мир... почти, — вёл Скептик в тряском вагоне, где они были. — Мир зауряден...

Поезд затормозил. Он шлёпнулся на Актрису. — Ох, извините.

Та промолчала, после спросила:

— Ваш идеал что, скептик Пиррон? Тот самый, что минул тонущего наставника, демонстрируя скептицизм, равнодушие и бесстрашие?

— В чём-то — да... У вас странный тип; затрудняюсь с этнической принадлежностью.

— Вы вовне диалога, точно не слышите, — отвернулась Актриса. — Люди вам только вещи, только объекты?

— Нет, хрюкачи.

— Тем паче, — произнесла она.

Он придумал немедля ряд ходов по развитию её чувств и мыслей, благоприятствующих отношениям.

На автобусной остановке девушка, принимая ёмкую сумку, кою он нёс, простилась. — Дальше сама. Спасибо.

— Как? Не открыв секрет необычного вот такого вот вашего типажа? А вдобавок, я отвечаю за иностранца. Не отрицайте, ибо я первый как бы призрел его. Разве нет?

В автобусе он купил билет для себя, для неё и монстра в виде вороны... Дом её был по улице Вильнюсская... или, может, Тарусская?

Дверь в квартиру открылась, и Воротила Финансович не спеша прошагал по комнате, полной книг и пластинок, медленно простучал по полу из ламината снова прихожую, где глазел на стенные красочные афиши, а пролетев на кухню, вспрыгнул на край стола к чашке чая.

— Вот, чай с вареньем. Пейте, пожалуйста, Мистер Во. Пожалуйста... Что хотите ещё? Сыр, круп?

— Я желаю после ужина лёгкий ванна и душ, сигар в постель... — Мельтеша клювом в чашке, он отхлебнул. — Sortir открыть для мой личные надобность... — Он, опять отхлебнув из чашки, каркнул довольно: — Мисс, в ваш комфортный эти условия я вспоминайт слова превращаться снова, крррах! крахи-кррахи! Вы, прошу, будет оба мой секретарь пока, двести долларов месяц. Мисс делать письма. Вы — искать негодяй один продавать оне ценность... Нет, по пятьсот bucks каждый я вам платить двум в месяц! Доллары! И купите сигар, прошу, мне курить. — Исклевав сардельку, он прыгнул в ванную и плескался там.

Скептик хмыкнул и выпил чаю.

— Надо прощаться, — произнесла Актриса. — Поздно, скоро автобусы прекратят ходить. — Она грела ладони о тёплую свою чашку, не подымая глаз.

— Ну, останутся двое, разве не всё равно?

— Никого я, однако, не оставляю...

— Разве? Он может вспомнить вдруг заклинания „превращаться снова“... Что вы сказали?

Девушка быстро вскинула взгляд.

— Признать, не продумала таковой вариант... — Взяв нужное, она спешно оделась и, когда Воротила Финансович, волоча на хвосте своём полотенце, выбрел из ванной с карком, враскачку, предупредила: — Мистер Во, оставайтесь, будьте как дома или в отеле. Пища вам — в холодильнике. Завтра после спектакля я к вам приду.

— Сэр, sorry, terribly sorry! Absence сигары, есть сигареты, — выложил Скептик.

Пыхая дымом явовской «Примы», даденной Скептиком, с тихим карком кивая, монстр проводил их. Двери захлопнулись. Интурист пролетел к окну наблюдать за огнями сонного города.

Скептик проехал с девушкой к центру, к серому дому.

— Здесь я останусь, — проговорила та.

Он отправился в снегопад.

Мутации близ экватора

Вику с кермеком долго носило ветром в Сахаре волею Каспия, кто забросил их колдовством в пустыню.

Перед Атлантикой ветер, резко меняясь, гнал их обратно к Красному морю в клубах песка с фантастической скоростью; два ремня её ранца, — Вика на ранце и колесила в этом кермеке, — тёрлись о палку, сильно дымились и раскалялись, так как на палку были накинута, ну а та была осью центра кермека.

— Эй! — взывал порой Покатун. — Что делать, а, комсомолка?

Вика на ранце бесперечь дёргалась, оттого направление их отчаянных гонок переменялось мало-помалу. Но травяной шар мнил, что она трепыхается, чтобы только позлить его, и пустился с ней препираться. Вика, заметив, что на подъёмах скорость снижается, вознамерилась, дёргаясь, повернуть к горе — и смогла-таки! Ветер их гнал к вершине, ослабевая, вихрь, вилия. И, наконец, он бежал прочь в пыльной завесе.

Небо прозрело, и запылало знойное солнце. Парочка, скрывшись в тень под скалой, уставилась на пустыню.

— Вика, что делать? — ныл Покатун. — Жарища! Здесь от нас рожки-ножки станутся.

Оба мучались и томились.

К вечеру зной уменьшился.

Осторожно скатясь с горы, стали двигаться по пескам да гривам серого щебня, в бок кладя две косые рваные тени. Вскоре послышались голоса. Свернув туда, за грядой обнаружили группу странных людей, галдящих близ пьедестала.

— Мы собрались, — вели они в возбуждении, — толковать-любомудрствовать! Просим, просим, Солон! Ты старший, возговори же первым!

— Я не хочу вещать, потому что есть тот, кто вместил в себя мои знания, я ничтожный должник его.

Все настаивали, однако; старец поддался.

— Я утверждаю: честным, прекрасным, добрым верь более, чем поклявшимся. Заводить друзей не спеш; заведя, не бросай. Не советуй негодное, а советуй благое. Ум — твой вожатый. Души бессмертны.

— Так! — возопили все и венчали оратора золотистым венком, затем они возвели его на большой пьедестал. — Вещай, Солон!

— Я, — изрёк тот, — я воспретил театр, ибо он научает лжи и притворству. Слово должно быть образом дела.

Голый толстяк, меж тем, вылезал из бочки с воблой в руке, которую всем показывал.

— Плюс я вычислил время от солнцестоянья к солнцестоянью, вычислил год, — твердил мудрец.

Но Солон не слушали, вместо этого созерцали воблу, поэтому он умолк смутившись.

— Ха! — веселился голый толстяк из бочки. — Эта грошовая задубевшая вобла сбила солоновы рассуждения! Ну-ка, вспомните: раз он шёл и смотрел на звёзды, кои познал-де, но — рухнул в яму. Дети шутили, что, кто не видит вещи под носом, зря устремляет взоры на небо.

Все, засмеявшись, свергли Солон, громко крича: — Честь, честь тебе, Диоген! Взбейся! — И указали на пьедестал.

— Зачем? Чтоб меня тоже скинули? — отмахнулся тот. — Состязаетесь, кто кого превзойдёт, — вот в чём вы состязаетесь, но не в истине. Изучаете нрав Эдипа, собственных нравов не разумея, точно арфист, что поладил с арфой, ну а с собой не сладит.

Все отвернулись, но Диоген, вскричав петухом, вновь привлёк интерес к себе.

— Ха, вы истин чураетесь, вас влечёт пустяковина. Это я и хотел сказать на прощанье, жалкие люди... — И Диоген влез в бочку.

Люди рукоплескали.

Их вдруг прервал муж быстрый, резкоречивый, кой ухватился за пьедестал.

— Довольно. Хватит витийствовать и молоть чепуху! — велел он. — Слушать меня. Всем слушать! Первопричина вещей есть Бог. Материя есть аморфная и пассивная масса. Главных стихий четыре, а кроме них есть пятая, заключающая эфирность; движется пятая по спирали, кругообразно.

— Честь, Аристотель! Честь и хвала тебе! — воспоследовал крик.

— Молчите. Я продолжаю. Счастье — общая полнота трёх благ: душевных, плотских и внешних. Всех добродетелей не достанет, чтоб быть счастливым; надобны красота, здоровье, знатность, богатство. И, в силу этого, на вопрос: чем милы нам красивые? — я сказал: кто так спрашивает, тот слеп. Я назвал Красу Божьим даром, тем отличаясь от Карнеада, кой трактовал её как алмаз без стражи, и Феокрита, кой заклеил её как напасть в сверкающей чаше, и Феофраста, коему красота — обман. Я также против Сократа, рекшего, что краса — непрочное царство.

Следовала овация, и послышались возгласы: — Красота — Божий дар, а материя есть пассивная масса... Чудно! Главных стихий четыре, также есть пятая. Изумительно!! Мы постигли, как жить, друзья! Впредь мы ведаем истину!!

Кто-то связывал лавры, кто-то рукоплескал, другой зубрил возглашённые «истины», повторяя:

«Первопричина — это есть Бог... стихий — четыре... также потребны знатность, богатство, вместе здоровье...»

Сумрачный муж в стороне прервал:

— Фиг! Мыслию иначе.

— Правда? — воскликнули. — Говори, Пиррон, твердокаменный скептик!

— Я ничего не знаю и ни во что не верю. Всё безразлично, — мерно вещал тот. — Всякому слову сыщешь обратное. Нет добра, нет и зла. Ибо будь они — они были бы одинаковы всем и каждому. Но они различные; потому-то их нет. Повар славного Александра грелся в тени, а на солнце мёрз. Диоген не считал Александра благом и попросил его отойти, так как царь застит солнце. А Аристотель — этот мнил благом службу при Александре.

— О, Пиррон! Честь, хвала тебе!

— Благо некий труд и поступок или он зло — не ведаю, ибо нет ни добра и ни зла; плюс по прочим всем основаниям. Ничего не знаю! Даже не знаю, знаю я, что не знаю, либо же знаю. Хоть говорю: не знаю, — но не возьмусь поклясться, что и действительно я не знаю.

— Прочь, Аристотель! На пьедестал, Пиррон!

— Всем вам в разницу, быть царём или рабом. Мне без разницы, быть царём или рабом, — восходил Пиррон по ступеням. — Некогда дед мой вязнул в болоте. Я же шёл мимо и не помог. Не ведаю ни благого, ни злого.

— Дивно!

— Раз нет добра со злом либо — кто его знает? — есть они, всё бессмысленно. Для чего, мнил я, помощь или не помощь, если нет смыслов? Смерть, может, — жизнь, а жизнь — смерть как раз. Эпикур научает, смерть есть бесчувствие. Но Сенека зовёт жизнь смертью, коя в преддверии жизни истинной. Он был рад мертвецам, восприявшим блага загробные, настоящие. Я же, — вёл Пиррон, — превзошёл их, так как не знаю, есть я или не есть. Раз чувствовать значит жить, то, вспомните, не Гомер ли нам описал край мёртвых, где чувства много полнее? Чувствую, что я есть; но истинно есть ли я — или я отражаюсь в этой вот жизни уткой в воде, не знаю.

— О, Пиррон!!! — восторгалось собрание.

— Я сейчас, — вёл Пиррон, — буду стучаться обо что-нибудь, потому что не знаю, нужно мне это или не нужно, выгодно это или невыгодно. И вообще, может, я здесь мёртвый и всё без разницы... — И он начал стучать лбом в камень, так что кровь пачкала пьедестал. В овациях, в воплях полного восхищения лишь один, подбежав, подставил под лоб полемиста руку.

— Прочь, Безымянный! — остервенились все. — Лавры, лавры Пиррону!

Глас Безымянного был тихим:

— Остановись, Пиррон! Ты не знаешь, как быть, и ладно, это не главное. Уходи. Накормлю тебя хлебом, фигами. Ну, идём со мной!

— Как мне им угодить? — рыдал Пиррон, позволяя себя увести. — О, боги! Их не насытишь.

Вика, приблизившись, повела его от софистов тоже, слушая, что внушает им Безымянный:

— В каждом есть истина! Исповедуйте дух внутри! Не сжирайте друг друга, но возлюбите каждый другого!

— Дай нам Пиррона, враль! — бесновался люд. — Пусть убьёт себя, и тогда он себя докажет! Прочь от нас! Ха! Болтай свой чувствительный нонсенс женщинам!

— Лучше б вы были дети! — вёл Безымянный дружески, но чем больше он говорил, тем больше всех раздражал.

Последовал стук, и головы повернулись. На пьедестале бил в мрамор камнем очередной оратор, там оказавшийся, пока все занялись Пирроном и Безымянным. Этот оратор Вике кого-то напоминал.

— Учение поверяем делом! Пусть бы разбил себе лоб Пиррон, пусть сдох бы — вот итог философии всех на свете пирронов и философия пустомель. Они бытие чернили и трактовали, путаясь и играясь фразой. Хватит! Мир пора изменять!

— Так, дальше! — все застонали в предожидании новых вычурных смыслов.

— Мы мир изменим! Перефразируя Безымянного: кто не с нами — тот против. Мы повернём мир именно с головной части на ноги! Хватит мудрствовать. Трёпом гору не сдвинуть. Эра дискуссий и краснобайства минула. Достоянием времени стала практика, только практика!

— Чётко! Ясно и лучезарно!! — все испустились.

— Мы, исходя из нынешних обстоятельств, идеалистов просим уйти подальше, а реалистов просим сплотиться в кучную массу под пьедесталом! Лозунг момента: мир есть материя и наш долг её изменять. Лейбниц, Кант, вы, Платон и вы, Каутский, — вон! Размежёвываемся напрочь!

Все разделились на половины; взявшие верх свистели и сквернословили да устраивали овации, угрожая противникам. Тени падали на восток, и по ним кралась тьма.

— Приступаем к борьбе, к выкорчёвыванию софистических домислов и гностической тарабарщины! Да, товарищи, наши цели ясны, наш путь прям! Переходим к практическим созидательным действиям.

В сумраке раздавались протесты, топоты, стуки, звуки ударов, стоны избитых, выкрики ярости. При закатной заре Пьедестал руководствовал страшной битвой.

— Как же так? — озадачилась Вика. — Как же так?

— Я не знаю, знаю ли, что свершается, но хочу поучаствовать! — прокричал Пиррон и ворвался в драку.

Идеалистов-субъективистов живо побили, в рты им сунули кляпы и обязали их строить рай — рыть песок да возить его тачками. Победители, воздымая плакаты близкого счастья, митинговали и ликовали. «Что за ослы мы были? Спорили, а зачем, а?» — вёл Аристотель, стукнув Платона, вёзшего тачку, древком плаката. «Нынче всё ясно!» — выложил Энгельс, плюнув в Спевсиппа. Раз Диоген, из битых и проигравших, вытащив кляп, воскликнул: «Друг Платон, как, постиг ли ты истину?» — «Да, я вынужден был постичь её под кнутом». — «Прекрасненько. Но тогда спора нет. Silentium!» — Диоген снова вставил в рот кляп и продолжил возку песка, бурча: «Мир, однако, материя! Наше дело материю транспортировать и её изменять, материю!»

Временами то Гоббс, то другой какой из надсмотрщиков восклицал:

— Блаженство! В мыслях прозрачность, чёткость, конкретность, нет проблем и вопросы отсутствуют! Жизнь, меж тем, улучшается! — И смолкал, погружаясь в сладкие думы. Часть победителей догадалась воткнуть древки лозунгов и знамён в барханы, освобождаясь к боль-

шим приятностям, после села в кружок, счастливая, и давай пить вино, есть мясо. Анаксагор встал с тостом:

— Вот, я мудрил, терзал интеллект, блуждая во тьме творения, и всего-то додумался, что началом является беспредельное. Много тайн собирался ещё открыть и мучительно думать. Вождь, под началом какого мы победили, нас вразумил, друзья! Надо, то есть, не думать. Надобно действовать. Слава тем, кто нашёл смысл жизни, нас осчастливив! Мы одолели наших противников и сидим, блаженствуем. Наши недруги возят в тачках песок, работают и, по-своему, счастливы, обретая смысл жизни. Всем всё понятно, ясно, лазурно, радужно, чисто! Мы стали счастливы. Так поднимем же кубки!

Пир стих под утро. Слышалась разве что заунывная песнь Конфуция да работали побеждённые. В предрассветных лучах протрезвевший Пиррон сказал:

— О, друзья! Все меня знают. Я одолел Платона. Я сибаритствую — он работает. Есть, однако, сомнение. Мне взбрело на ум вот что: я его одолел или он меня? Я вообще сомневаюсь, что, дескать, мир — материя. Потому что мы возим песок, а толку? Может, материя — это духаки, а не вещи? Ибо зачем тогда мысль о ней существует в нас? Почему без идей и мыслей силой материи мы управиться с ней не можем? Вот и выходит: идеалисты, хоть сочиняют то, чего нет, работают с сей материей. А должны бы работать — мы как раз, те, кто любит материю. Получается — ложь. То есть вождь наш наврал? Я не ведаю, знаю ли, что я прав, но знаю, что сомневаться стал в том, что я знаю.

— Честь и хвала, Пиррон! — завопили все, подбегая и оттесняя правящего вождя. — Вещай, Пиррон! Пьедестал где? Где пьедестал Пиррону?

— Слушайте! — встрял сердитый строгий мудрец. — Твердите, всё суть материя? Нет. Мне кажется, всё из атомов. А Земля видом бубен, Солнце всех далее, Лунный Круг самый ближний, прочие — между ними. Есть склонность к югу; Солнце заимствует свет от звёзд, что вспыхивают в движении, так как трутся в их космосе обо что-то. Поняли?

— Ты давно слез с небес, Левкипп, что всё знаешь про небо? — выложил Диоген из бочки.

Все хохотали.

Вика, взглянув на них, обернулась с ехидством к бывшему близ неё Безымянному.

— Не послушали умного человека, начали болтовню. Зря! Делали правильно, транспортируя и копая этот песок, как вождь им велел. Построили бы хорошую жизнь — и жили бы припеваючи!

Безымянный шёл по пустыне. Вика с кермеком (покатуном, качимом) двигались следом. Пятки у странного Безымянного были светлые, волосы длинные, да и шаг его тоже был очень длинный. Вика, стараясь не отставать, бежала изнемогая. Воздух Сахары, разогреваясь, делался знойным. Девочка рухнула в раскалённый песок, заныв:

— Не могу поспеть! — И, когда Безымянный быстро приблизился, завершила: — Я хочу есть, — подумавши, что в родном краю взрослый сразу бы накормил её и понёс на спине, — как боец, скажем, раненного товарища. Укоризненно Вика крикнула: — Спорят-спорят, а до людей нет дела!

— Ну, а кому до людей есть дело? — И Безымянный подал ей руку.

— Как кому? У нас Ленин был, он радел за всех.

— Да?

— Вот именно! Ленин знал, как жить. У нас так живут, по-советскому, и друг другу сразу помогут.

— Знаешь, как жить?

— Конечно! — бросила Вика. — Знаю прекрасно.

— Но в том случае для чего тебе голова? Пусть пребудет сама собой. Ты сними её.

— Я?.. Вы скажете!.. Глупость! Головы не снимаются! — млела Вика, взявшись за голову, каковая снялась с неё беспрепятственно да и шлёпнулась на песок.

Безымянный тянул безголовую за руку, они двинулись далее. Голова же с опешившим, потрясённым кермеком злясь перекатывалась за ними.

Час спустя безголовая девочка непонятно как замурлыкала песенку, а в оазисе с пальмами вдруг распрыгалась, точно малая, явно радуясь. Голова же захныкала: «Я голодная!» В поселении из песчаных домов Безымянный спросил у какого-то жителя подаяние, пожелав прежде мира.

— Мир и тебе, о, путник! — житель ответил, сразу спросив: — Что бродишь и странствуешь?

— Я учу вечной жизни, вот и хожу-брожу по земле, чтоб учить людей.

Безголовая Вика странным манером слышала диалог их всей своей кожей, а Голова с кермеком стали шептаться.

— Доля твоя сурова. — Житель вздохнул кивнув. — Обучать люд сложно, непредсказуемо. Что ты скажешь, ради примера, путник тому, кто устал жить и не имеет сил на жизнь вечную? Сын мой, бедный мой сын, погиб; дочки ищут удач в столице; а самому мне хворь не даёт работать на виноградниках. Коль не выплачу подать, буду бездомный, вроде тебя, ненужный. Что с меня взять, уставшего, неучёного и бессильного, отживающего свой век, скажи? Мне учиться жить вечно недостаёт, увы, ни желаний, ни сил. Значит я пропаду, не ведая вечной жизни?

— Знай, — Безымянный сказал с поклоном, — знай, что тебя, о, трудящийся стойкий дух, наставлять больше нечему. Ты уже заслужил жизнь вечную и идёшь к ней. Станется, как обещано. Ты на смертном одре познаешь рай и блаженство. Смерть будет лёгкой. Радуюсь! Я узрел, с кем увижусь в жизни за гробом. Мир тебе! И прощай. Пойду.

— Стой-ка... — Житель вынес лепёшку. — Путник, в дорогу. Ты заходи ко мне.

Распрощались, и Безымянный двинулся в тень проулка, сел у стены амбара, переломил хлеб натрое и себе взял меньшую часть. Безголовая Вика тоже взяла часть хлеба. А Голова, бурча, отвернулась.

— Хлеб бери.

— Не хочу.

— Ты жаловалась на голод.

— Нет! Мне обманный ваш хлеб не нужен!

— Как так обманный?

— Вы не трудились, а вот едите. Вы... попрошайки вы!

— Вечной жизни учить люд что, не работа?

— Нет, не работа! Нет вечной жизни, нам говорили, — злобно отрезала Голова.

— Вот и я говорю. Кто у вас говорит, тем дают на хлеб?

— Им зарплату дают.

— Награждают за то, выходит, что не желают вечной жизни? Хлеб дают им за то, что они вам советуют жизнь прожить, а затем умереть навек? Я учу вечно жить — а они, напротив, вас убивают. Что, это лучше?

— Лучше, да! Нас там учат истории, математике, биологии и другим настоящим честным вещам. Вы же учите фальши... Фи! Вот придумали! Ишь ты, „вечная жизнь“, скажите!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.